

ИСТОРИИ, НАШЕПТАННЫЕ ТЬМОЙ



Э.Т.Г.ГОФМАН



ЭЛИКСИРЫ
САТАНЫ

Истории, нашептанные тьмой

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Эликсиры сатаны

«Издательство АСТ»

1815

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)

Гофман Э.

Эликсиры сатаны / Э. Гофман — «Издательство АСТ»,
1815 — (Истории, нашептанные тьмой)

ISBN 978-5-17-164851-0

Запутанная мистическая история, окрашенная в готические тона, от гения гротеска и фантасмагории. «В „Эликсирах сатаны“ заключено самое страшное и самое ужасающее, что только способен придумать ум». Генрих Гейне Молодой монах Медард со всей искренностью пылкого сердца собирается посвятить себя служению Господу. Но даже стены святой обители – недостаточная защита от греховных соблазнов. Однажды на исповедь является прелестная незнакомка, повергая дух Медарда в смятение. Юноша и не подозревает, в какое поистине дьявольское хитросплетение нитей судьбы угодит из-за минутной слабости... «Эликсиры сатаны» – шедевр немецкого романтизма, который погружает читателя в самые темные недра человеческой природы, стирая грань между рассудочностью и безумием. Череды преступлений и грехов, чернейшее предательство и вероломство... Воистину, сатана изобретателен. Хотя любое искушение можно побороть – но для этого нужно суметь распознать его.

УДК 821.112.2

ББК 84(4Гем)

ISBN 978-5-17-164851-0

© Гофман Э., 1815
© Издательство АСТ, 1815

Содержание

Предисловие издателя	7
Часть первая	8
Глава I. Годы детства и жизнь в монастыре	9
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Эликсир сатаны

E. T. A. Hoffmann
Die Elixiere des Teufels

© Славятинский Н. А., наследники, перевод, 2020
© Диана Бигаева, ил., 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *



Предисловие издателя

Охотно повел бы я тебя, благосклонный читатель, под сумрачную сень платанов, где я впервые прочитал диковинное повествование брата Медарда. Ты сел бы рядом со мною на каменную скамью, еле заметную за благоухающим кустарником и ярко пламенеющими цветами; с томлением неизъяснимым смотрели бы мы с тобой на синие причудливые громады гор, встающие над солнечной равниной, что расстилается за пределами парка. Оглянувшись назад, ты увидел бы шагах в двадцати от нас готическое здание с порталом, щедро украшенным статуями.

С горящих яркими красками фресок на обширной стене смотрели бы на тебя, сквозь сумрачную листву платанов, ясные, полные жизни очи святых.

Алое, как жар, солнце садится на гребне гор, повеяло вечерним ветерком, всюду жизнь и движение. Шепот и ропот каких-то дивных голосов слышатся в деревьях и кустах, все яснее, яснее; словно невидимый хор и раскаты органа нам почудились где-то вдали. Молча, в ниспадающих широкими складками одеяниях шествуют по аллее сада величавые мужи с обращенными к небу благоговейными взорами. Уж не святые ли ожили там, наверху, и спустились с карнизов храма?

Ты весь преисполнился таинственного трепета, навеянного чудесами житий и легенд, здесь воплощенными; тебе уже мерещится, что все это и впрямь совершается у тебя на глазах, – и ты всему готов верить. В таком-то настроении ты стал бы читать повествование Медарда, и странные видения этого монаха ты едва ли счел бы тогда одной лишь бессвязной игрой разгоряченного воображения...

Но раз уж ты, благосклонный читатель, увидел лики святых, обитель и монахов, то нечего объяснять, что я привел тебя в великолепный парк монастыря капуцинов близ города Б.

Мне привелось однажды пробыть несколько дней в этом монастыре; почтенный приор показал мне оставшиеся после брата Медарда и хранившиеся в архиве как некая достопримечательность Записки, и лишь с трудом уговорил я колебавшегося приора позволить мне ознакомиться с ними. Старец полагал, что по-настоящему эти Записки следовало бы сжечь.

Не без тревоги, что и ты, благосклонный читатель, примешь сторону приора, я вручаю тебе эту книгу, составленную по Запискам. Но если ты отважишься последовать за Медардом как его верный спутник по мрачным монастырским переходам и кельям, а затем по пестрому-пестрому миру и вместе с ним испытаешь все, что перенес он в жизни страшного, наводящего ужас, безумного и смехотворного, то, быть может, тебя развлечет многообразие картин, которые откроются перед тобой словно в камере-обскуре.

Может статься, что с виду бесформенное примет, едва ты пристально взглядишься, ясный и завершенный вид. Ты постигнешь, как из незримого семени, брошенного в землю сумрачным роком, вырастает пышное растение и, пуская множество побегов, раскидывается вширь и ввысь, – доколе распутившийся на немедиственный цветок не превратится в плод, который высосет все живые соки растения и погубит его, равно как и семя, из коего оно развилось...

Прочитав с великим тщанием Записки капуцина Медарда – а это было нелегко, ибо блаженной памяти брат писал мелким неразборчивым монашеским почерком, – я пришел к мысли, что наши, как мы их обычно именуем, грезы и фантазии являются, быть может, лишь символическим откровением сущности таинственных нитей, которые тянутся через всю нашу жизнь и связывают воедино все ее проявления; я подумал, что обречен на гибель тот, кто вообразит, будто познание это дает ему право насильственно разорвать тайные нити и схватиться с сумрачной силой, властвующей над нами.

Быть может, и у тебя, благосклонный читатель, возникнет такая же мысль, – горячо желаю тебе этого по причине весьма значительной.

Часть первая



Глава I. Годы детства и жизнь в монастыре

Мать никогда не говорила мне о том, какое место в жизни занимал мой отец; но стоит мне только вспомнить ее рассказы о нем в годы моего раннего детства, как я убеждаюсь, что это был умудренный опытом муж, человек глубоких познаний. Именно из рассказов и недомолвок матери о ее прошлом, которые стали понятны мне лишь гораздо позднее, я знаю, что родители мои, обладая большим состоянием и пользуясь всеми благами жизни, впали вдруг в тягчайшую, гнетущую нужду и что отец мой, которого сатана толкнул некогда на тяжкое преступление, совершил смертный грех, но милостию Божией прозрел в позднейшие годы и пожелал его искупить паломничеством в монастырь Святой Липы, что в далекой студеной Пруссии.

Во время этого тягостного странствия мать моя впервые после долгих лет замужества почувствовала, что оно не пребудет бесплодным, как того опасался отец; и невзирая на свою нищету, возрадовался он всем сердцем, ибо исполнялось данное ему в видении обетование святого Бернарда, что рождение сына станет залогом мира душе его и отпущения грехов. В монастыре Святой Липы отец мой занемог, и, чем ревностнее он, преодолевая слабость, исполнял тягостный чин покаяния, тем сильнее овладевал им недуг; он умер, получив отпущение грехов и полагая свое упование в Боге, в ту самую минуту, как я появился на свет.

С той поры, как я себя помню, теплятся в душе моей отрадные картины жизни в обители Святой Липы с ее величавым храмом. Вокруг меня еще шумит сумрачный лес; еще благоухают вокруг пышно разросшиеся травы и пестрые цветы, служившие мне колыбелью. Ни ядовитой твари, ни вредного насекомого не водилось в окрестностях обители; жужжание мухи, стрекотание кузнечика не нарушало ее благодатной тишины; слышались только благочестивые песнопения священнослужителей, что выступали во главе длинных верениц пилигримов, мерно размахивая золотыми кадильницами, из коих возносилось к небу благоухание жертвенного ладана. И у меня все еще перед глазами посреди церкви окованный серебром ствол липы, на которую ангелы некогда возложили чудотворный образ Пресвятой Девы. И все еще улыбаются мне со стен и взлетающего ввысь купола лики ангелов и святых в цветных облачениях!

Рассказы матери о благолепном монастыре, где по милости Божией она обрела утешение в глубокой скорби, так запали мне в душу, что, казалось, будто я сам все это видел, сам все пережил; однако столь ранние воспоминания едва ли возможны – ведь мне было всего лишь полтора года, когда мать покинула со мной святую обитель.

Но мнится мне порой, будто я своими глазами видел в безлюдном храме суровую фигуру дивного мужа; это был именно тот иноземный Художник, который в стародавние времена, когда церковь еще только строилась, появился здесь, где никто не знал его языка; в короткое время он искусной рукой прекрасно и величаво расписал всю церковь и, закончив свой труд, исчез бог весть куда.

Помню еще старого Пилигрима с длинной седой бородой, одетого по-чужеземному; нередко он носил меня на руках, собирал в окрестном лесу разноцветные мхи и камешки и забавлял меня; но я уверен, что образ его лишь по описаниям матери так живо запечатлелся у меня в душе. Однажды он привел к нам неведомого мальчика дивной красоты, одного возраста со мной. Мы сидели с ним вместе на траве, лаская и целуя друг друга; я подарил ему все мои разноцветные камешки, и он умело складывал из них всевозможные фигуры, но в конце концов неизменно получался крест. Неподалеку, на каменной скамье, сидела моя мать, а старик, стоя за ее спиной, следил со сдержанной нежностью за нашими детскими играми. Вдруг из-за кустов появились какие-то молодые люди; судя по их одежде и по всем их повадкам, они из одного лишь праздного любопытства пришли в обитель Святой Липы.

При виде нас один из них воскликнул со смехом:

– Поглядите-ка, настоящее Святое семейство. Да это находка для моего альбома!

И действительно, он вынул бумагу и карандаш и начал было что-то набрасывать, но старый Пилигрим поднял голову и гневно воскликнул:

– Жалкий насмешник, ты хочешь стать художником, хотя в душе у тебя ни разу не загорался пламень веры и любви; но мертвенны, безжизненны, подобно тебе самому, будут твои произведения; одинокий, отверженный всеми, ты впадешь в отчаяние и погибнешь, сознавая свое ничтожество и пустоту.

Ошеломленные молодые люди кинулись от нас прочь. А старый Пилигрим сказал моей матери:

– Нынче я привел сюда это дивное дитя, чтобы оно заронило искру любви в душу твоего сына, но сейчас я должен увести его обратно, и ты никогда больше не увидишь ни его, ни меня. Сын твой щедро одарен свыше, но грех отца кипит и бурлит у него в крови; и все же он может возвыситься и стать доблестным борцом за веру. Посвяти его Богу!

Рассказывая об этом, мать моя не могла выразить, сколь глубокое, неизгладимое впечатление оставили у нее в душе слова Пилигрима; и все же она решила не оказывать на меня ни малейшего воздействия, а спокойно ждать исполнения всего, предначертанного мне неотвратимой судьбой; да она и не мечтала о том, чтобы дать мне образование более высокое, чем то, какое я мог получить с ее помощью дома.

Мои подлинные и уже более отчетливые воспоминания начинаются с того дня, когда мать посетила на обратном пути домой монастырь бернардинок, где ее приветливо приняла знавшая моего отца княгиня-аббатиса.

Но промежуток времени от встречи с Пилигримом (которого я все же смутно помню – мать потом лишь дополнила мои впечатления, передавая мне его слова и слова Художника) и до того часа, когда мы с матерью впервые пришли к аббатисе, полностью выпал из моей памяти.

Я обретаю себя вновь в тот день, когда мать, как уж сумела, починила и привела в порядок мое платье. Она накупила в городе новых лент, подровняла мои буйно отросшие волосы и, старательно принарядив, внушила мне, чтобы я вел себя у госпожи аббатисы скромно и благонаравно. И вот наконец, ведя меня за руку, она поднялась со мной по широкой мраморной лестнице, и мы вошли в украшенный картинами священного содержания высокий сводчатый зал, где нас ждала княгиня. Это была высокого роста величавая женщина в монашеском одеянии; оно придавало ей особенное достоинство, и на нее невольно взирали с благоговением. Она устремила на меня строгий, до глубины души проникающий взгляд и спросила у матери:

– Это ваш сын?..

И голос, и облик ее, и необычная обстановка – высокий зал, картины – все это так подействовало на меня, что я горько заплакал, затрепетав от какого-то безотчетного страха. Тогда княгиня, глядя на меня все ласковее и добрее, спросила:

– Что с тобою, малютка, уж не боишься ли ты меня?.. Как зовут вашего сына, милая?

– Франц, – ответила мать.

– Франциск! – воскликнула княгиня с глубокой скорбью, потом подняла меня и горячо прижала к себе; тут я почувствовал, как что-то больно кольнуло мне шею, и пронзительно вскрикнул. Испуганная княгиня поспешно отпустила меня, а пораженная мать кинулась ко мне и хотела тотчас же меня увести. Но княгиня удержала нас; оказывается, алмазный крест у нее на груди так глубоко врезался мне в шею, когда княгиня порывисто меня обняла, что пораненное место покраснело и из него стала сочиться кровь.

– Бедняжка Франц, – сказала аббатиса, – я сделала тебе больно, но все же мы будем добрыми друзьями.

Одна из сестер принесла печенья и десертного вина; я осмелел и, не заставляя себя долго просить, начал усердно лакомиться сладостями; усевшись и взяв меня на колени, княгиня с нежностью клала их мне в рот. А когда я впервые в жизни пригубил сладкого напитка, то ко мне возвратились и хорошее настроение, и та особенная живость, которою, как говорила мать, я

отличался с самого раннего детства. К величайшему удовольствию аббатисы и сестры, оставшейся с нами в зале, я без умолку смеялся и болтал.

Мне до сих пор непонятно, отчего моя мать вдруг попросила меня рассказать княгине, сколь много прекрасного и замечательного увидели мы и услышали там, где я родился; тут я, словно по наитию свыше, стал живо описывать чудные картины неведомого иноземного Художника, как будто уже тогда постиг их глубочайший смысл. Я вдавался в такие подробности преславных житий святых, точно уже вполне освоился со всей церковной письменностью. Не только княгиня, но даже и мать смотрела на меня с изумлением; я же, чем дольше говорил, тем более воодушевлялся, и, когда наконец княгиня спросила меня: «Милое дитя, скажи, откуда ты все это узнал?» – я, ни на мгновение не задумываясь, ответил, что дивно прекрасный мальчик, которого однажды привел к нам неведомый Пилигрим, не только объяснил мне значение всех икон, какие были в церкви, но даже сам выложил из цветных камешков несколько фигур; он рассказал мне и много других преданий.

Заблаговестили к вечерне, сестра собрала печенье и отдала сверток мне. Я с удовольствием взял его. Аббатиса поднялась и сказала моей матери:

– Отныне, моя милая, я считаю вашего сына своим воспитанником и буду заботиться о нем.

От скорбного волнения мать не могла вымолвить ни слова и, вся в слезах, стала целовать княгине руки.

Мы были уже у порога, когда княгиня догнала нас; она снова взяла меня на руки и, заботливо отодвинув крест, прижала к себе, горько плача, – горячие капли оросили мне лоб.

– Франциск!.. – воскликнула она. – Будь же всегда добр и благочестив!..

Я был глубоко взволнован и тоже заплакал, сам не зная почему.

Благодаря поддержке аббатисы скромное хозяйство моей матери, поселившейся на маленькой мызе неподалеку от монастыря, заметно поправилось. Нужде пришел конец, мать прилично одевала меня, и я учился у священника, которому стал прислуживать в монастырской церкви.

Словно благостные грезы, встают в душе моей воспоминания о той счастливой отроческой поре!.. Ах, отдаленной обетованной землей, где царят радость и ничем не омрачаемое веселье, представляется мне моя далекая-далекая родина; но стоит мне оглянуться назад, как я вижу зияющую пропасть, навеки отделившую меня от нее. Объятый жгучим томлением, я стремлюсь туда все сильней и сильней, вглядываюсь в лица близких, которые смутно различаю словно в алом мерцании утренней зари, и, сдается мне, слышу их милые голоса. Ах, разве есть на свете такая пропасть, через которую нас не перенесли бы могучие крылья любви? Что для любви пространство, время!.. Разве не обитает она в мыслях? А разве мыслям есть предел? Но из разверстой бездны встают мрачной вереницей привидения и, обступая меня плотней и плотней, смыкаясь тесней и тесней, заслоняют весь кругозор, и настоящее гнетет меня и скывает дух мой, а непостижимое уму томление, наполнявшее душу мою несказанно сладостной скорбью, сменяется мертвящей, неисцелимой мукой!

Священник был сама доброта; ему удалось обуздать мой слишком подвижный ум и так подойти ко мне, что учение стало для меня радостью и я делал быстрые успехи.

Никого я так не любил на свете, как свою мать, но княгиню я почитал за святую, и праздником был для меня день, когда я видел ее. Всякий раз я собирался блеснуть перед нею вновь приобретенными познаниями; но, бывало, едва она войдет и ласково заговорит со мной, как я слов не нахожу и, кажется, все бы смотрел *на нее* одну, все только бы *ее* одну слушал. Каждое слово ее глубоко западало мне в душу, и весь день после встречи с нею я испытывал приподнятое, праздничное настроение, и образ ее сопровождал меня на моих прогулках. Я трепетал от невыразимого волнения, когда, плавно размахивая кадильницей у главного алтаря, потрясенный звуками органа, громовым потоком хлынувшими с хоров, узнавал в торжественном

песнопении ее голос, который настигал меня подобно сияющему лучу и наполнял душу мою предчувствием чего-то высокого и светлого.

Но прекраснейшим днем, которого я всею душою ожидал целыми неделями, днем, о котором я не могу думать без восторженного замиранья сердца, был день святого Бернарда; он был покровителем монастыря, и праздник его торжественно ознаменовывался у нас всеобщим отпущением грехов. Уже накануне из соседнего города и всех окрестных сел и деревень сюда стекались потоки людей, располагавшихся на большом цветущем лугу возле самого монастыря; день и ночь не умолкал там гомон радостно взволнованной толпы. Я не помню, чтобы погода в эту благостную пору лета (День святого Бернарда празднуется в августе) когда-либо помешала торжеству. Вот пестрой толпой бредут, распевая псалмы, благочестивые паломники... а далее, шумно веселясь, толпятся деревенские парни и разряженные девушки... Вот монахи и священники стоят в молитвенном восторге, благоговейно сложив руки и устремив очи к небу... А семьи горожан, сидя на траве, разгружают корзины, доверху наполненные всякой снедью, и принимаются за еду. Разудалое пение – и благочестивые гимны; стенания кающихся – и веселый смех; вздохи – и радостные восклицания, ликующие крики; шутки – и мольбы... Все сливалось в воздухе в какую-то поразительную, ошеломляющую симфонию!..

А едва в монастыре заблаговестят, гомон мигом смолкает, и, насколько хватает глаз, люди стоят плотными рядами на коленях, и лишь глухое бормотанье молитв нарушает священную тишину. Но вот замер последний удар колокола, и снова приходит в движение вся эта пестрая толпа, и снова слышится прерванное на минуту ликование.

Сам епископ, чья резиденция находилась в соседнем городе, совершал в День святого Бернарда праздничную литургию в сослужении с местным духовенством, а на возвышении возле главного алтаря, под сенью богатых, редкостных гобеленов, его капелла исполняла духовные концерты.

Поньше живы в душе моей волновавшие меня тогда чувства, и они воскресают во всей своей юной свежести, когда я переношусь воображением в ту блаженную, так быстро пролетевшую пору. Живо припоминаю славословие «Gloria», которое повторялось несколько раз, ибо это песнопение особенно любила княгиня. Когда епископ возглашал: «Gloria» и мощные голоса хора подхватывали: «Gloria in excelsis Deo»¹, то мнилось – небеса разверзаются над алтарем, а изображения херувимов и серафимов каким-то чудом господним оживают и во всем своем блеске витают в воздухе, помавая могучими крыльями и славя Бога пением и дивною игрою на арфах.

Погружаясь в мечтательное созерцание, в восторженные молитвы, я будто сквозь блистающие облака уносился душой на далекую и столь знакомую мне родину, и слышались мне в благоуханном лесу сладостные голоса ангелов, и дивный мальчик выходил мне навстречу из высоких кустов лилий и спрашивал меня, улыбаясь: «Где ты так долго пропадал, Франциск? У меня столько красивых ярких цветов, и все они станут твоими, только останься при мне и вечно меня люби!»

После литургии монахини совершали крестный ход по монастырским галереям и по церкви; впереди, опираясь на серебряный посох, шествовала увенчанная митрой аббатиса. Какая святость, какое неземное величие сияли во взоре этой царственной жены, сквозили в каждом ее движении! То было живое олицетворение самой торжествующей церкви, обетование верующим Божией милости и благоволения. Когда взор ее случайно падал на меня, я готов был повергнуться перед нею ниц.

По окончании службы монахини угощали духовенство и епископскую капеллу в большой монастырской трапезной. Здесь же обедали и некоторые друзья монастыря, а также должностные лица и городские купцы; допускался на эти трапезы и я, ибо регент епископа отличал меня

¹ «Слава в вышних Богу!» (лат.).

своим вниманием и охотно общался со мной. И если душа моя незадолго перед тем благоговейно обращена была к неземному, то теперь меня радостно обступала жизнь с ее пестрыми картинами. Веселые рассказы, шутки и прибаутки, забавные истории сменяли друг друга под громкий смех гостей, усердно опустошавших бутылки, и так продолжалось до самого вечера, когда к монастырю с грохотом начинали подъезжать экипажи.

Но вот мне минуло шестнадцать лет, и священник заявил, что я достаточно подготовлен и могу проходить курс высшего богословия в духовной семинарии соседнего города. Я к этому времени уже окончательно решил посвятить свою жизнь служению Богу; мое намерение до глубины души обрадовало мою мать, ибо она узрела в нем осуществление таинственных предвещаний Пилигрима, неким образом связанных со знаменательным видением моего отца, тогда мне еще неизвестным. Она верила, что именно благодаря моему решению душа отца моего очистится и избежит вечных мук. Княгиня, с которой я мог теперь видеться только в приемной монастыря, тоже весьма одобрила мой выбор; она вновь подтвердила свое обещание поддерживать меня до той поры, когда я достигну духовного сана.

Монастырь находился так близко от города, что оттуда были видны городские башни и усердные ходоки из горожан избирали для своих прогулок его прелестные, живописные окрестности; но все же мне было тяжело расставаться с моей доброй матерью, с величавой аббатисой, которую я так глубоко почитал, и с добрым моим наставником. Как известно, разлука с близкими сердцу бывает порой столь мучительна, что и ничтожное расстояние кажется бесконечным!

Княгиня была чрезвычайно взволнована, и голос у нее дрожал от скорби, когда она напутствовала меня благочестивыми наставлениями. Она подарила мне красивые четки и карманный молитвенник с изящно исполненными миниатюрами. Кроме того, она дала мне письмо к приору городского монастыря капуцинов, поручая меня его благоволению; она настаивала, чтобы я поскорее побывал у него, ибо он всегда окажет мне помощь и делом, и добрым советом. Трудно отыскать местность живописнее той, где расположен пригородный монастырь капуцинов. Я находил все новые и новые красоты в великолепном монастырском саду с видом на горы, когда, гуляя по длинным аллеям, останавливался то у одной, то у другой роскошной купы деревьев.

В этом саду я и повстречал приора Леонарда, придя впервые в обитель с письмом аббатисы, просившей для меня его внимания и заступничества.

И без того приветливого нрава, приор стал чрезвычайно любезен, когда прочитал письмо, и сказал столько хорошего о замечательной женщине, с которой еще в молодости познакомился в Риме, что уже одним этим привлек меня к себе.

Братия окружала его, и так легко было понять их взаимные отношения, образ жизни в монастыре и весь монастырский уклад; покой и веселие духа, излучаемые приором, передавались всей братии. Не было здесь и тени уныния или той иссушающей душу отрешенности, которые так часто отражаются на лицах монахов. Устав ордена был строг, но приор Леонард почитал молитву скорее потребностью духа, взыскующего горнего мира, чем проявлением аскетического покаяния за первородный грех; он умел пробудить в братьях это понимание смысла молитвы, и все, что им надлежало совершать для соблюдения устава, было исполнено жизнерадостности и добросердечия, которые вносили проблески высшего бытия в земную юдоль.

Приор Леонард старался даже установить в допустимых пределах общение с внешним миром – для братии оно могло быть только благотворным. Щедрый приток вкладов во всеми почитаемый монастырь позволял время от времени угощать в трапезной монастыря его друзей и покровителей. В таких случаях посредине залы для них накрывался длинный стол, на верхнем конце которого восседал приор. Братия сидела за узкими, придвинутыми к стенам столами и довольствовалась по уставу простой глиняной посудой, меж тем как стол гостей был изысканно сервирован хрусталем и тонким фарфором. Монастырский повар превосходно готовил

лакомые постные блюда, очень нравившиеся прихожанам. Вино доставляли гости, и таким-то образом происходили в монастыре приятные дружеские встречи светских лиц с духовными, далеко не бесполезные для обеих сторон. Ведь когда миряне, отвлекаясь от суетных треволнений, оказывались в монастырских стенах, где все возвещало им о жизни, прямо противоположной их собственной, то какая-то искра западала им в душу и они должны были согласиться, что и на этом чуждом им пути возможны покой и счастье и что, быть может, чем выше дух воспарит над всем земным, тем верней он уготовит человеку еще в этом мире более высокий образ бытия. С другой стороны, монахи обретали более широкий кругозор и житейскую мудрость, получая представление о пестром разнообразии мира за монастырскими стенами, а это наводило их на всевозможные размышления. Не придавая мнимой ценности земному, они вынуждены были признать, что многообразные, возникшие в силу внутренней необходимости формы человеческого существования озарены радужным отблеском духовного света, без чего все вокруг стало бы тусклым и бесцветным.

Выше всех по духовному и светскому образованию издавна почитался отец Леонард. Он прослыл выдающимся богословом, искусно и глубоко трактовал труднейшие вопросы, и даже профессора духовной семинарии нередко пользовались его советами и поучениями; вдобавок, более чем это возможно ожидать от монаха, он был и светски образованным человеком. Он свободно и изящно говорил по-итальянски и по-французски, был обходителен с людьми, и потому на него в былое время возлагали важные миссии. Когда я с ним познакомился, он был уже в преклонном возрасте; белизна волос выдавала его годы, но в глазах еще сверкал огонек молодости, а приветливая усмешка, блуждавшая у него на устах, усиливала общее впечатление уравновешенности и покоя. Изящество, каким отличалась его речь, было свойственно также его походке и жестам, и даже обычно мешковатое монашеское одеяние отлично прилегало к его статной фигуре. Не было среди братии ни одного монаха, который не поступил бы в монастырь по собственной воле, испытывая в этом глубокую духовную потребность; но и того злосчастного, который постучался бы во врата обители, надеясь тут спастись от окончательной гибели, приор Леонард вскоре утешил бы: после краткого покаяния этот брат обрел бы покой; примирившись с миром и отвратясь от его суеты, он, еще в земной жизни, вскоре возвысился бы над земным. Этот необычайный для монастырей жизненный уклад Леонард усвоил в Италии, где и церковный культ, и все понимание религиозной жизни несравненно радостнее, чем в католической Германии. Как в архитектуре храмов Италии проступают античные формы, так мистический сумрак христианства пронизывается там могучим лучом, долетевшим к нам из радостных, животворных времен античности и осиявшим веру нашу тем пречудным блеском, который некогда озарял героев и богов.

Леонард меня полюбил и стал обучать итальянскому и французскому языкам, но для моего развития были особенно полезны книги, которые он постоянно давал мне, а также его беседы. Почти все свободное от семинарских занятий время я проводил в монастыре капуцинов, чувствуя, как во мне непреодолимо крепнет влечение к монашеской жизни. Я открыл приору свое желание; не пытаясь отговорить меня, он посоветовал мне года два подождать, а тем временем хорошенько присмотреться к жизни мирян. Но хотя я уже завел кое-какие знакомства – главным образом при посредстве епископского регента, преподававшего мне музыку, – в любом обществе, особенно в женском, мне было не по себе, и, кажется, именно это наряду со склонностью к созерцанию окончательно определило мое призвание к монашеству.

Однажды приор рассказал мне много примечательного о мирской жизни; он затрагивал самые деликатные темы, но говорил со свойственным ему изяществом и гибкостью выражений и, избегая всего непристойного, умел коснуться самой сути. Наконец он взял меня за руку, испытующе взглянул мне в глаза и спросил, сохранил ли я еще свою чистоту.

Я вспыхнул от щекотливого вопроса Леонарда, ибо предо мной во всей живости красок предстала уже совершенно забытая картина.

У регента была сестра, ее никто не назвал бы красавицей, но это была цветущая и чрезвычайно привлекательная девушка. Фигура ее отличалась безукоризненной соразмерностью; у нее были прекраснейшие руки и на редкость хорошо сформированный бюст ослепительной белизны.

Как-то раз, придя к регенту на урок, я застал его сестру в легком утреннем одеянии; грудь у нее была почти обнажена, и, хотя девушка мгновенно набросила на плечи платок, алчный взор мой успел уловить чересчур много; я онемел, неведомые доселе чувства бурно заклокотали во мне, разгоряченная кровь стремительно понеслась по жилам, я слышал биение своего пульса. Грудь у меня судорожно сдавило, казалось, она вот-вот разорвется, но наконец-то я с легким стоном смог перевести дыхание. Волнение мое только усилилось, когда девушка подошла ко мне, взяла меня за руку и простодушно спросила, что со мной. Счастье еще, что в комнату вошел регент и положил конец моим мукам.

В тот день я как никогда сбивался в пении, фальшивил в музыке. Но я отличался таким благочестием, что принял все происшедшее за дьявольское наваждение, и был счастлив, когда в скором времени постом и покаянием заставил отступить Врага. А теперь, после коварного вопроса приора, я как живую видел перед собой сестру регента с соблазнительно открытой грудью, чувствовал тепло ее дыхания, пожатие руки – и тревога моя с каждым мигом возрастала.

Леонард посмотрел на меня с какой-то насмешливой улыбкой, я весь затрепетал. Не в силах вынести его взгляда, я опустил глаза; тогда приор потрепал меня по разгоряченным щекам и сказал:

– Вижу, сын мой, что ты меня понял и с этим у тебя пока все благополучно, – Господь да хранит тебя от мирских соблазнов. Наслаждения, коими мир прельщает нас, весьма кратковременны, и, можно сказать, над ними тяготеет проклятие, ибо следствием их неизбежно бывает неопишное отвращение к жизни, полный упадок сил, тупое равнодушие ко всему высокому: они заглушают лучшее в человеке – его благородное духовное начало.

Сколь я ни старался забыть вопрос приора и картину, что так живо встала перед моими глазами, это мне никак не удавалось; и если до тех пор я уже мог непринужденно вести себя в присутствии столь смутившей меня девушки, то теперь я снова робел, встречаясь с нею, и даже при одной мысли о ней меня охватывала какая-то внутренняя скованность и тревожная тоска, представлявшаяся мне тем опасней, что тотчас же мной овладевало удивительное, еще никогда не испытанное томление, пробуждавшее неясные и, как я угадывал, греховные желания. Однажды вечером этому нерешительному состоянию моего духа пришел конец.

Регент пригласил меня, как это бывало уже не раз, на домашний концерт, – он их устраивал вместе со своими друзьями. Кроме его сестры, было еще несколько женщин, и это усиливало мое смущение, ведь ее одной было достаточно, чтобы у меня перехватило дыхание. Она была очень мило одета и никогда еще не казалась такой прелестной; какая-то неведомая сила непреодолимо влекла меня к ней, и я, сам того не замечая, держался к ней поближе и алчно ловил каждый ее взгляд, каждое слово; я тянулся к ней, стараясь будто мимоходом коснуться хотя бы ее платья, и это наполняло меня тайным, дотоле еще неизведанным восторгом. Казалось, она это заметила, и это не было ей неприятно; порой меня охватывало такое любовное исступление, что я готов был броситься к ней и пылко прижать ее к груди!

Долго сидела она возле клавикордов, а когда наконец отошла, я схватил со стула забытую ею перчатку и в безумном порыве прижал ее к устам!.. Это увидела другая девушка и, подойдя к ней, что-то шепнула ей на ухо; обе посмотрели на меня, захихикали, а потом язвительно расхохотались. Я был вконец уничтожен, ледяная дрожь потрясла меня с ног до головы, и я без памяти кинулся прочь, в мою семинарскую келейку. Там, в диком отчаянии, бросился я на пол... жгучие слезы лились у меня из глаз... я проклинал и эту девушку... и самого себя... и то молился, то хохотал как безумный! Мне чудились вокруг насмешливые, глумливые голоса; я выбросился бы из окна, да, к счастью, на нем была железная решетка, мое душевное состояние

было ужасно. Только под утро я немного успокоился; но я бесповоротно решил никогда не искать встречи с нею и вообще отречься от мира. Громче прежнего заговорило во мне призвание к уединенной монастырской жизни, и никакой соблазн уже не мог отвлечь меня от этого пути.

После обычных семинарских занятий я поспешил в монастырь капуцинов и высказал приору свою решимость начать послушничество, прибавив, что уже известил об этом и мать и княгиню. Казалось, мое неожиданное рвение удивило Леонарда; не проявляя навязчивости, он на все лады пытался выведать у меня, почему я настаиваю на немедленном посвящении, ибо он отлично понимал, что какое-то из ряда вон выходящее событие толкнуло меня на этот шаг. Непреодолимый стыд не позволил мне открыть ему всю правду; напротив, я рассказал ему, пылая огнем экзальтации, о чудесных событиях моего детства, столь явно предопределивших мое призвание к монашеской жизни. Леонард спокойно выслушал меня и, не подвергая сомнению мои видения, кажется, довольно равнодушно принял их; более того, он прямо сказал, что все это слишком мало говорит о подлинности моего призвания, что тут возможен самообман.

Вообще Леонард неохотно говорил о видениях святых и даже о чудесах первых провозвестников христианства, и я, поддаваясь искушению, временами подозревал его в тайных сомнениях. Чтобы вызвать его на откровенность, я как-то дерзнул заговорить о хулителях католической религии; особенно порицал я тех, кто с ребяческим задором клеймит веру в сверхчувственное нечестивым словом «суеверие». Леонард ответил на это с кроткой улыбкой: «Сын мой, неверие – это худшее из суеверий» – и перевел разговор на другие, маловажные темы. Лишь значительно позднее приобщился я к его вдохновенным мыслям о сокровенной стороне нашей религии, например о таинственной связи свойственного человеку духовного начала с Высшим существом, и пришел к убеждению, что Леонард правильно поступал, приберегая самые заветные, излившиеся из глубины верующей души высказывания лишь для своих удостоившихся как бы высшего посвящения учеников.

Мать написала мне о своем давнишнем предчувствии, что меня не удовлетворит положение духовного лица в миру и я предпочту жизнь в монастыре. В день святого Медарда она явственно видела старого Пилигрима, являвшегося нам в монастыре Святой Липы: он вел меня за руку, а я был в облачении ордена капуцинов. Княгиня тоже одобрила мое намерение. Я повидался с обеими перед моим постригом; он состоялся в непродолжительном времени, ибо мне сократили наполовину срок послушничества, идя навстречу моему задушевному желанию. Видение матери побудило меня принять монашеское имя Медарда.

Взаимоотношения монахов, распорядок молитв и служб, весь образ жизни в монастыре были такими же, какими они показались мне с первого взгляда. Царивший здесь благодатный мир принес и моей душе тот неземной покой, который витал вокруг меня в годы моего раннего, оваянного блаженными грезами детства в обители Святой Липы. Во время торжественного обряда облачения увидел я среди зрителей сестру регента; она казалась опечаленной, мне почудились слезы у нее на глазах. Но пора искушения миновала, и, быть может, греховная гордость так легко одержанной победой вызвала у меня улыбку, которую приметил шествовавший рядом со мною брат Кирилл.

– Чему ты так радуешься, брат мой? – спросил Кирилл.

– Как же мне не радоваться, – ответил я, – когда я отрекаюсь от этого жалкого мира, от суеты сует?

Не скрою, что едва я произнес эти слова, как был наказан за свою ложь: я вздрогнул от пронизавшего меня зловещего предчувствия.

Но то был последний приступ земного себялюбия, а затем наступил некий благодатный покой духа. О, если бы он никогда не покидал меня! Но велико могущество Врага!.. Кто может полагаться на свою твердость, на бдительность свою, если нас повсюду подстерегают силы преисподней?

Я прожил в монастыре пять лет, когда по приказанию приора уже старый и немощный брат Кирилл, который у нас был смотрителем богатого собрания реликвий, передал мне наблюдение за ними. Были там кости святых, частицы креста Господня и другие святыни – они хранились в опрятного вида застекленных шкафах и по праздникам выставлялись в назидание народу. Брат Кирилл знакомил меня с каждым предметом, а также с бумагами, подтверждавшими его подлинность и содеянные им чудеса. По своему духовному развитию он стоял ближе всех к нашему приору, и я не колеблясь поделился с ним обуревавшими меня сомнениями.

– Неужели, дорогой мой брат Кирилл, – сказал я, – все, что перед нами, – это подлинные святыни? Быть может, алчные и бесчестные люди обманули нас, выдавая это за священные реликвии? Существует же монастырь, обладающий честным животворящим крестом Спасителя нашего, а повсюду показывают такое количество кусков древа Господня, что кто-то из наших братьев, конечно, кощунственно насмехаясь, утверждал, будто ими можно было бы весь год отапливать нашу обитель.

– Разумеется, – возразил брат Кирилл, – не подобает нам подвергать сомнению эти святыни, но, откровенно говоря, и я полагаю, что, невзирая на свидетельства, лишь немногие из них представляют собой *именно то*, за что их выдают. Только, думается мне, дело совсем в другом. Постарайся уразуметь, как мы с приором смотрим на это, и ты, милый брат Медард, узришь религию нашу во всем ее блеске. Разве не прекрасно, милый брат Медард, что святая церковь наша стремится уловить таинственные нити, связующие чувственный и сверхчувственный миры? Она пробуждает в человеке, в котором все приноровлено к земному бытию, мысль о его происхождении от высшего духовного начала, о его глубоком внутреннем родстве с тем пречудным существом, чья сила, подобно пламенному дыханию, проникает всю природу и, будто крыльями серафимов, овеивает нас предчувствием высшей жизни, зерно которой она в нас заронила. Что такое эта частица древа Господня... косточка... этот лоскуток? Говорят, вот это от честного креста, а тотот останков святого, от его одежды. Но кто верует от всего сердца, не мудрствуя лукаво, тот преисполняется неземного восторга и ему отверзаются врата в горнее царство блаженства, которое здесь, в мире дольном, он мог лишь прозревать; так, при воздействии даже мнимых реликвий в человеке возгорается духовная сила того или другого святого, и верующий почерпает крепость и мощь от Высшего существа, к которому он всем сердцем воззвал о помощи и утешении. Эта воспрянувшая в нем высшая духовная сила превозмогает даже тяжкие телесные недуги, вот почему эти реликвии творят чудеса, чего никак нельзя отрицать, ибо нередко они совершаются на глазах у целой толпы народа.



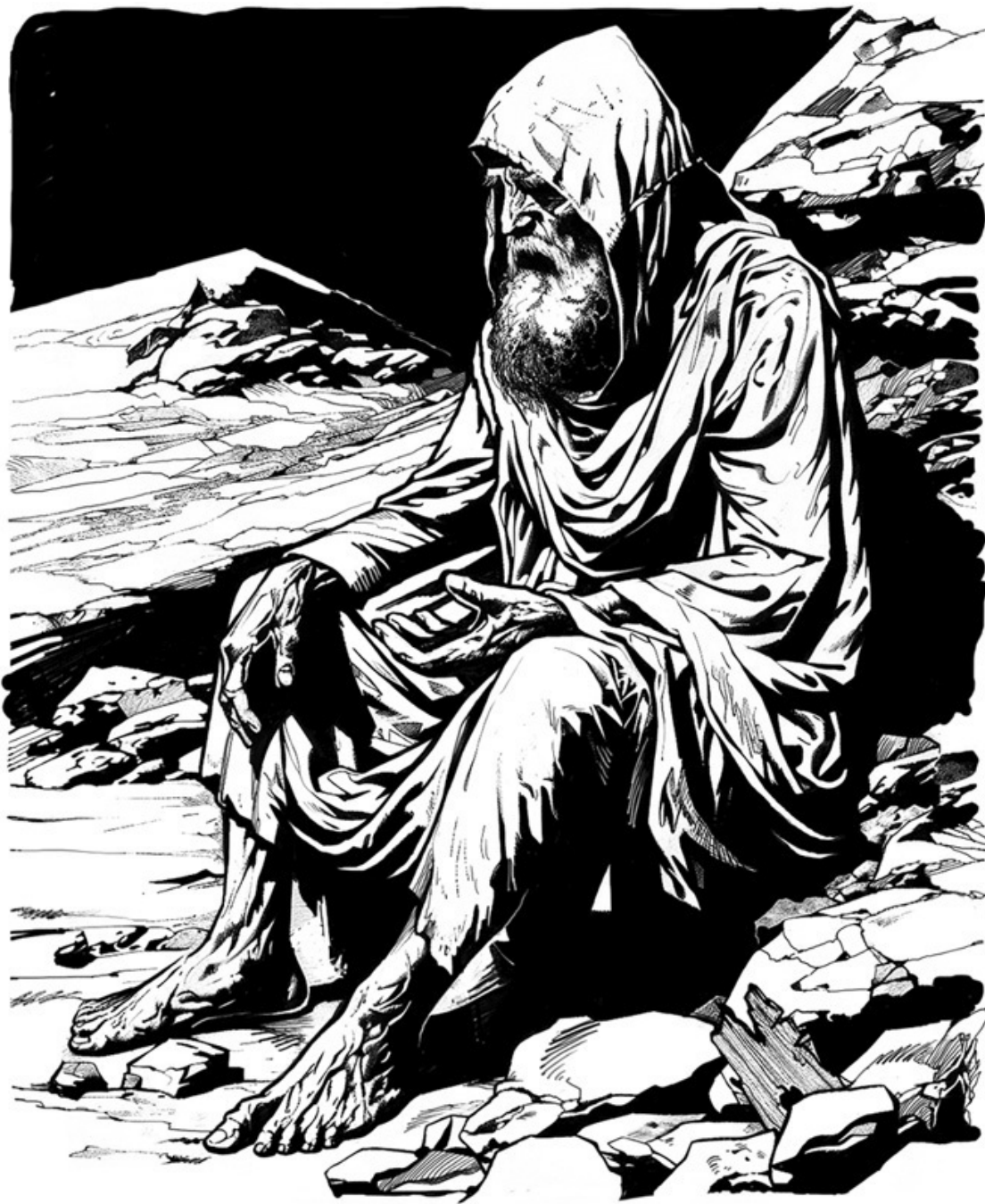
Мгновенно мне пришли на память некоторые намеки приора, подтверждавшие слова брата Кирилла, и я уже с чувством искреннего благоговения рассматривал реликвии, с которыми прежде в моем представлении было связано столько недостойных проделок. От брата Кирилла не ускользнуло впечатление, произведенное его речами, и он продолжал с еще большим рвением проникновенно рассказывать о каждой из доверенных ему святынь. Наконец он вынул из надежно запиравшегося шкафа ларец и сказал:

– Здесь, дорогой мой брат Медард, содержится самая удивительная и самая таинственная из всех достопримечательностей нашего монастыря. За все время моего пребывания в обители только я да приор держали в руках этот ларец; о его существовании не подозревают ни братья, ни посторонние лица. Всякий раз я прикасаюсь к нему с душевным трепетом, словно в нем заключены злые чары, скованные и лишённые силы могучим заклятием, – но если они обретут свободу, то навлекут погибель и вечное осуждение на человека, коего они настигнут!.. Знай же, что содержимое этой шкатулки принадлежало самому Врагу-искусителю в те времена, когда он еще мог в зримом образе противоборствовать спасению человеческих душ.

В крайнем изумлении смотрел я на брата Кирилла, а он, не давая мне времени вставить хоть слово, продолжал:

– Я ни за что не стану, милый брат мой Медард, высказывать свое мнение о столь высокомистическом предмете... и не буду излагать домыслы, какие порой приходят мне в голову... а лучше всего как можно точнее передам тебе все, что говорится в бумагах об этой достопримечательности. Они хранятся в этом шкафу, и ты впоследствии прочтешь их сам.

Тебе достаточно хорошо известно житие святого Антония, и ты знаешь, как он, дабы отвратиться от всего земного и устремиться всею душою к божественному, удалился в пустыню и там проводил жизнь свою в строжайшем посте и покаянных молитвах. Но Враг преследовал его и не раз появлялся перед ним в зримом облике, чтобы смутить его среди благочестивых размышлений. И вот однажды святой Антоний заметил в вечерних сумерках какое-то мрачное существо, направлявшееся к нему. И как же удивился он, когда, взглянув на путника, увидел, что сквозь дыры его изношенного плаща лукаво выглядывают горлышки бутылок. Оказалось, что перед ним в этом причудливом наряде предстал сам Враг и, глумливо усмехаясь, спросил, не пожелает ли он отведать эликсиров, хранящихся в этих бутылках. Это предложение отнюдь не рассердило святого Антония, ибо Враг давно утратил над ним всякую власть и силу и ограничивался лишь насмешливыми речами, даже не пытаясь вступать с ним в борьбу; пустынный только спросил его, почему он таскает с собой столько бутылок, да еще таким странным способом. И Нечистый ответил так: «Видишь ли, стоит кому-либо повстречаться со мной, как он посмотрит на меня с изумлением и, уж конечно, не преминет спросить, что это у меня там за напитки, а потом из алчности начнет поочередно пробовать их. Среди стольких эликсиров непременно найдется такой, что окажется ему по вкусу, и глядишь – он уже вылакал всю бутылку и, опьянев, отдается во власть мне и всей преисподней».



Так об этом повествуется во всех легендах. Но в хранящейся у нас бумаге об этом видении святого Антония добавлено, что Нечистый, уходя, оставил в траве несколько бутылок, а святой Антоний поспешно подобрал их и припрятал в своей пещере, опасаясь, что заблудившийся в пустыне путник или, чего доброго, кто-нибудь из его учеников хлебнет пагубного напитка и тем обречет себя на вечную погибель. Даже сам святой Антоний, как говорится далее в бумаге, однажды нечаянно раскупорил одну из бутылок, и оттуда ударили такие одуряющие пары и такие чудовищные видения ада разом обступили святого, такие зареяли вокруг него соблазнительные призраки, что только молитвами и суровым постом он малопомалу их отогнал. В ларце как раз и хранится попавшая к нам из наследия святого Антония бутылка с эликсиром сатаны; относящиеся к ней бумаги отличаются строго обоснованной, бесспорной подлинностью, и, во всяком случае, едва ли приходится сомневаться в том, что бутылка эта после кончины святого Антония была действительно найдена среди его вещей. Впрочем, – я и сам

могу тебя в том заверить, дорогой брат Медард, – стоит мне прикоснуться к этой бутылке или даже к ларцу, в котором она хранится, как меня охватывает неизъяснимая жуть; мне чудится странный запах, он одурманивает меня и вызывает такое смятение, что оно не рассеивается даже при совершении душеспасительных послушаний. Но с помощью неотступных молитв я преодолеваю греховное состояние духа, какое, очевидно, вызывают некие враждебные человеку силы, хотя я и не верю в то, что здесь непосредственно действует сам дьявол.

Ты еще очень молод, дорогой брат Медард, и твое воображение может под враждебным влиянием разгореться слишком живо и ярко; да, ты мужественный и бодрый духом, но неопытный и, быть может, даже слишком отважный и самонадеянный воин, готовый всечасно ринуться в бой; вот почему советую тебе никогда не открывать этот ларчик, разве что спустя годы и годы; а чтобы любопытство не одолевало тебя, убери ты его подальше.

Брат Кирилл водворил загадочную шкатулку на прежнее место и передал мне связку ключей, в которой был и ключ от шкафа, где она хранилась. Странное впечатление произвел на меня его рассказ, но, чем сильнее донимал меня соблазн взглянуть на редкостную достопримечательность, тем тверже старался я не поддаваться ему, памятуя предостережения брата Кирилла. Когда Кирилл ушел, я еще раз окинул взглядом доверенные мне реликвии, нашел в связке ключик от рокового шкафа и запрятал его подальше, под бумаги в моей конторке...

Один из профессоров семинарии был превосходный оратор, и всякий раз, когда он проповедовал, церковь была переполнена; всех неудержимо увлекал поток его огненного красноречия, зажигавший в сердцах пламень искренней веры. Его исполненные красоты вдохновенные поучения глубоко западали и мне в душу; я считал счастливецом столь даровитого оратора, и вот я смутно почувствовал, что во мне все более и более крепнет стремление уподобиться ему. Наслушавшись его, я и сам, бывало, пробовал силы в своей одинокой келейке, целиком отдаваясь вдохновению, и мне удавалось порой удерживать в памяти свои мысли и слова, а затем набрасывать их на бумагу.

Тем временем проповедававший у нас в монастыре брат заметно дряхлел, речь его текла вяло и беззвучно, как иссякающий ручей, а чувства и мысли у него так оскудели, что проповеди, которые он произносил без подготовленного заранее наброска, становились нестерпимо длинными, и задолго до их конца почти все прихожане тихонько засыпали, словно под мерное постукивание мельничных жерновов, и лишь могучие звуки органа под конец пробуждали их. Приор Леонард, хотя и был прекрасным оратором, однако в свои преклонные годы он не решался читать проповеди из боязни чрезмерного волнения, так что заменить дряхлеющего брата было решительно нечем. Леонард иногда заговаривал со мной об этом прискорбном положении, из-за которого у нас в церкви становилось все меньше прихожан. Собравшись с духом, я однажды сказал ему, что еще в семинарии почувствовал склонность к проповедованию слова Божия и даже написал несколько духовных бесед. Он потребовал их у меня на просмотр и остался так ими доволен, что настойчиво советовал мне в виде опыта выступить с проповедью в ближайший же праздник; он нисколько не опасался неудачи, ибо природа одарила меня всем необходимым для хорошего проповедника, а именно: располагающей внешностью, выразительным лицом и, наконец, сильным и звучным голосом. Что же касается умения держаться на кафедре и подобающих жестов, то этому взялся меня обучить он сам. Наконец подошел праздник, церковь наполнилась прихожанами, и я не без трепета поднялся на кафедру.

Вначале я придерживался написанного, и Леонард рассказывал мне потом, что я говорил с дрожью в голосе, но это вполне соответствовало тем благоговейным и скорбным размышлениям, какими начиналось мое слово, и было воспринято большинством как чрезвычайно действенный прием ораторского искусства проповедника. Но вскоре словно искра неземного восторга вспыхнула у меня в душе, я и думать позабыл о своем наброске, всецело отдавшись внезапному наитию. Кровь пылала и клокотала у меня в жилах, я слышал громовые раскаты

моего голоса под самым куполом храма, и мне чудилось, что огонь вдохновения озаряет чело мое и широко распростерты руки.

Все, что возвестил я собравшимся святого и величественного, я словно в пламенном фокусе собрал воедино в самом конце этой проповеди, и она произвела небывалое, ни с чем не сравнимое впечатление. Рыдания... возгласы благоговейного восторга, непроизвольно срывавшиеся с уст... громкие молитвы сопровождали мои слова. Братья выразили мне свое величайшее восхищение, Леонард обнял меня и назвал светочем монастыря.

Слава обо мне быстро разнеслась; чтобы послушать брата Медарда, наиболее видные и образованные горожане за целый час до благовеста уже толпились в не очень-то просторной монастырской церкви. Всеобщее восхищение побуждало меня отделять мои проповеди, так чтобы они отличались не только жаром, но изящной округленностью фраз и искусством построения. Я все более увлекал своих слушателей, и уважение их ко мне, столь разительно проявляемое повсюду и возраставшее день ото дня, стало уже граничить с почитанием святого. Какой-то неудержимый религиозный экстаз охватил весь город, под любым предлогом не только по праздникам, но и в будни все устремлялись в монастырь, дабы увидеть брата Медарда и поговорить с ним.

И вот постепенно стала созревать у меня мысль, что я – отмеченный особой печатью избранник Божий: таинственные обстоятельства моего рождения в святой обители ради искупления греха моего преступного отца, чудесные события моего раннего детства – все указывало на то, что дух мой, находясь в непосредственном общении с небесами, еще в этой юдоли возносится над всем земным и я не принадлежу ни миру, ни людям, ради спасения и утешения коих совершаю свое земное поприще. Теперь я был уверен, что старый Пилигрим, который нам являлся в Святой Липе, – это святой Иосиф, а необыкновенный мальчик – сам младенец Иисус, приветствовавший во мне святого, коему свыше предначертано скитаться по земле. Но чем глубже укоренялись у меня в душе эти представления, тем тягостней, тем обременительней становилась для меня среда, в которой я жил. Не осталось и следа прежнего покоя и безоблачной ясности духа, а добросердечные слова братьев и приветливость приора возбуждали во мне лишь неприязнь и гнев. Им следовало бы признать во мне *святого*, высоко вознесенного над ними, повергнуться ниц предо мной и умолять о предстоянии за них перед Богом. А раз этого не было, то я в душе обвинил их в греховной закоснелости. Даже в свои назидательные речи вплетал я порою намеки на то, что, подобно лучисто-алой заре на востоке, уже забрезжили над землей исполненные чудес времена и некий избранник Божий грядет во имя Господне, неся верующим надежду и спасение. Свой воображаемый удел я облекал в мистические образы, которые тем сильнее воздействовали на толпу своим причудливым очарованием, чем менее она их понимала. Леонард становился ко мне заметно холоднее, он уклонялся от разговоров со мной без свидетелей, но однажды, когда мы с ним случайно оказались с глазу на глаз в аллее монастырского сада, он не выдержал:

– Не скрою, дорогой брат Медард, что с некоторых пор все твое поведение внушает мне тревогу. В душу твою проникло нечто такое, что отвращает тебя от жизни, исполненной благочестия и простоты. В речах твоих царит некий зловещий мрак, из коего пока еще робко проступает угроза полного отчуждения между нами... Позволь, я выскажусь откровенно!.. На тебе сейчас особенно заметны последствия первородного греха; ведь с каждым порывом наших духовных сил ввысь пред нами разверзается пропасть, куда при безрассудном полете нас так легко низвергнуть!.. Тебя ослепило одобрение, нет – граничащий с идолопоклонством восторг легкомысленной, падкой на любые соблазны толпы, ты видишь самого себя в образе, вовсе тебе не свойственном, и этот мираж воображения завлекает тебя в бездну погибели. Загляни поглубже в свою душу, Медард!.. Отрекись от обольщения, помрачающего твой рассудок... Сдается мне, я угадываю, каково оно!.. Ты уже утратил тот душевный покой, без коего нет на

земле спасения... Берегись, лукавый опутал тебя сетями, постарайся же выскользнуть из них!.. И стань снова тем чистосердечным юношей, которого я всею душою любил.

Тут слезы навернулись на глазах у приора; он схватил мою руку, однако тотчас отпустил ее и быстро ушел, не дожидаясь ответа.

Но я неприязненно отнесся к его словам: он упомянул о похвалах, о безграничном восхищении, а ведь я их заслужил своими необыкновенными дарованиями, и ясно стало мне, что его досада была плодом низменной зависти, которую он и высказал столь открыто! Молчаливый и замкнутый, снедаемый затаенным озлоблением, сидел я теперь на собраниях общины монахов; целые дни и бессонные ночи напролет я обдумывал, поглощенный новизною того, что открылось мне, в какие пышные слова облеку созревшие у меня в душе назидания и как поведаю их народу. И чем более отдалялся я от Леонарда и братии, тем искуснее притягивал к себе толпу.

В День святого Антония церковь была донельзя переполнена, и пришлось настезь распахнуть двери, дабы все подходивший и подходивший народ мог хотя бы с паперти уловить что-либо из моих слов. Никогда еще я не говорил сильнее, пламеннее, проникновеннее. Я коснулся, как это принято, наиболее существенного из жития святого и затем перешел к тесно связанным с человеческой жизнью размышлениям. Я говорил об искушениях лукавого, получившего после грехопадения власть соблазнять людей, и проповедь моя как-то незаметно подвела меня к легенде об эликсирах, которую я истолковал как иносказание, исполненное глубокого смысла. Тут мой блуждающий по церкви взгляд упал на высокого худощавого человека; прислонясь к колонне, он стоял наискосок от меня возле скамьи. На нем был необычно, на чужеземный лад, накинутый темно-фиолетовый плащ, под которым обрисовывались скрещенные на груди руки. У него было мертвенно-бледное лицо, а в упор устремленный на меня взгляд больших черных глаз, словно жгучим ударом кинжала, пронзил мою грудь. Мне стало жутко, я затрепетал от страха, однако, отвернувшись и собрав все силы, продолжал говорить. Но будто под воздействием недобрых чар я все поворачивал голову в его сторону, и все так же сурово и неподвижно стоял этот муж с устремленным на меня загадочным взглядом. Горькая насмешка... ненависть, исполненная презрения, застыли на его изборожденном морщинами высоком челе и в опущенных углах рта. От него веяло холодом... жутью. О, да ведь это был неведомый Художник из Святой Липы!.. Я почувствовал леденящие объятия ужаса... Капли холодного пота проступили у меня на лбу... Речь моя теряла плавность... я все более сбивался... В церкви стали перешептываться... послышался ропот... Но все так же неподвижно, оцепенело стоял, прислонясь к колонне, грозный Незнакомец, устремив на меня свой упорный взгляд. И я крикнул в безумном порыве смертельного страха:

– Изыди, проклятый!.. Изыди!.. ибо я... я – святой Антоний! Тут я упал без сознания, а очнулся уже на своем иноческом одре, брат Кирилл сидел у моего изголовья, пестуя меня и утешая. Но как живой стоял перед моими глазами образ грозного Незнакомца. И чем больше брат Кирилл, которому я все рассказал, старался убедить меня, что это был лишь призрак воображения, разгоряченного моей уж слишком ревностной проповедью, тем более жгучими были горечь раскаяния и стыд за свое поведение на кафедре. Как я потом узнал, по моему последнему восклицанию прихожане рассудили, что со мной приключился приступ внезапного помешательства. Нравственно я был раздавлен, уничтожен. Затворившись в своей келье, я предавался строжайшему покаянию и в пламенных молитвах искал сил на борение с Искушителем, дерзнувшим явиться мне в святом месте и лишь глумления ради принявшим образ благочестивого Художника из Святой Липы.

Никто, впрочем, не видал мужа в фиолетовом плаще, и приор Леонард по известной доброте своей изо всех сил старался объяснить происшедшее горячкой, которая так зло застигла меня во время проповеди и была причиной того, что я стал заговариваться. И действительно, я был еще хил и немощен, когда спустя несколько недель вошел опять в круговорот монастыр-

ской жизни. Я попытался снова подняться на кафедру, но, терзаемый страхом, преследуемый наводящим ужас мертвенно-бледным ликом, я из сил выбивался, стараясь достигнуть известной стройности изложения, и уже не надеялся, как бывало прежде, на огонь красноречия. Проповеди мои стали обыденными... вялыми... бессвязными. Прихожане пожалели о моем утраченном даре и мало-помалу рассеялись, а на место мое возвратился проповедовавший прежде старый монах, и говорил он явно лучше меня.

Некоторое время спустя обитель нашу посетил молодой граф, который путешествовал со своим наставником, и пожелал осмотреть ее многочисленные достопримечательности. Мне пришлось отпереть залу с реликвиями, но когда мы вошли, то приора, сопровождавшего нас при осмотре монастырской церкви и хоров, зачем-то позвали и я остался один с гостями. Показывая то одно, то другое, я давал объяснения, но вот графу бросился в глаза украшенный изящной резьбой старинный немецкий шкаф, в котором у нас хранился ларец с эликсиром сатаны. Не считаясь с явным моим нежеланием говорить о том, что хранится в этом шкафу, граф и наставник не отставали от меня до тех пор, пока я не рассказал им легенду о коварстве дьявола, об искушениях святого Антония и о хранящейся у нас редкости – диковинной бутылке; и я даже слово в слово повторил те предостережения, которые сделал брат Кирилл, уверявший, что губительно открывать ларец и показывать бутылку. Но хотя граф был и нашей веры, он, казалось, столь же мало, как и его наставник, придавал значения святым легендам. Оба они потешались и острили над смехотворным чертом, таскавшим в дырявом плаще соблазнительные бутылки. Наконец наставник, приняв серьезный вид, сказал:

– Не сетуйте на нас, легкомысленных мирян, ваше преподобие!.. Будьте уверены, мы с графом глубоко чтим святых как выдающихся подвижников веры, которые ради спасения своей души и душ ближних жертвовали всеми радостями жизни и даже ею самой. Но что до истории, рассказанной сейчас вами, то она, думается мне, лишь тонкое назидательное иносказание, сочиненное святым, и оно только по какому-то недоразумению было потом внесено в его житие как нечто действительно с ним происшедшее.

С этими словами наставник проворно отбросил крышку и выхватил из ларца черную, странного вида бутылку. Действительно, как утверждал брат Кирилл, вокруг распространился крепкий аромат, но только не одуряющий, а скорее приятный, животворный.

– Э, да я побьюсь об заклад, – воскликнул граф, что этот эликсир сатаны – настоящее сиракузское вино, и притом отличное!

– Без сомнения, – поддержал наставник, – и если эта бутылка действительно досталась вам из наследия святого Антония, высокочтимый отец, то вам повезло куда более, чем королю неаполитанскому; ведь дурное обыкновение римлян не закупоривать вина, а сохранять их под слоем масла лишило его величество удовольствия отведать древнеримского вина. Но если это вино и не столь старо, как древнеримское, то все же оно самое выдержанное из всех существующих на свете, и вы недурно поступили бы, воспользовавшись как должно этой реликвией и полегоньку выщедив ее себе на утеху.

– О да, – подхватил граф, – и это старое-престарое сиракузское вино, высокочтимый отец, влило бы в вашу кровь свежие силы, так что и следа не осталось бы от той немощи, какая, очевидно, снедает вас.

Наставник вытащил из кармана стальной пробочник и, не вникая моим возражениям, откупорил бутылку... Мне показалось, что вслед за вылетевшей пробкой мигнул и мгновенно погас синеватый огонек. Аромат стал сильнее и разошелся по всей комнате. Наставник первый отведал вина и восторженно воскликнул:

– Отличное, отличное сиракузское! Видно, недурен был погребок у святого Антония, и если дьявол действительно поставлял ему вино, то, право же, он относился к подвижнику не так уж плохо, как принято думать. Отведайте, граф.

Граф отведал и подтвердил мнение наставника. Продолжая вышучивать эту достопримечательность как явно наилучшую во всем собрании, они говорили, что таких реликвий они рады бы иметь целый погреб, и т. д. Я слушал молча, понутив голову и потупив глаза; беззаботное веселье этих людей удручающе отозвалось во мне: на сердце у меня стало тяжелее, и напрасно настаивали они на том, чтобы я пригубил вина святого Антония, я наотрез отказался и, тщательно закупорив бутылку, запер ее в хранилище.

Приезжие покинули монастырь, но когда я одиноко сидел в своей келье, то заметил, что самочувствие мое улучшилось и что я бодр и весел. Как видно, уже один аромат вина подкрепил мои силы. Я не испытал на себе ни малейшего следа того вредного действия, о котором говорил Кирилл, наоборот, было очевидно благотворное влияние эликсира; и чем глубже я вникал в смысл легенды о святом Антонии и чем живее звучали у меня в душе слова графского наставника, тем более убеждался я, что его объяснение правильно; и вот в голове у меня, словно молния, блеснула мысль, что в тот злополучный день, когда адское видение прервало мою проповедь, я и сам задавался целью объяснить прихожанам эту легенду как тонкое и поучительное иносказание святого мужа. К этому соображению вскоре присоединилось другое, и оно так меня захватило, что все остальное потонуло в нем. «Что, если этот волшебный напиток, – думал я, – придаст крепость душе твоей, зажжет погасшее было пламя, и оно, вспыхнув с новой силой, всего тебя озарит? И не сказало ли таинственное сродство твоего духа с заключенными в вине силами природы, если тот же самый аромат, который одурманивал хилого Кирилла, так животворно подействовал на тебя?»

Но всякий раз, как я решался последовать совету гостей и уже готов был приступить к делу, какое-то внутреннее, мне самому непонятное сопротивление удерживало меня. И едва я подходил к шкафу с намерением открыть его, мне вдруг начинало мерещиться в его причудливой резьбе наводящее ужас лицо Художника с пронзительным, в упор устремленным на меня взглядом мертвенно-живых глаз; мною овладевал суеверный страх, я опрометью бросался вон из хранилища реликвий и у подножия креста каялся в своем дерзновении. Но все настойчивей и настойчивей овладевала мною мысль, что лишь после того как я отведаю чудодейственного вина, дух мой обретет вожаделенную свежесть и силу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.